

Эту небольшую историю рассказал мне шорник Сверчок, весь ноябрь работавший вместе с другим шорником, Василием, у помещика Ремера.

Ноябрь стоял темный и грязный, зима все не налаживалась. Ремеру с его молодой женой, недавно поселившимся в дедовской усадьбе, было скучно, и вот они стали ходить по вечерам из своего еще забитого дома, где только внизу, под колоннами, была одна сносная жилая комната, в старый флигель, в упраздненную контору, где зимовала птица и помещались шорники, работник и кухарка.

Вечером под Введение несло непроглядной мокрой вьюгой. В просторной и низкой конторе, когда-то беленной мелом, было очень тепло и сыро, густо воняло махоркой, жестяной лампочкой, горевшей на верстаке, сапожным варом, политуры и мятной кислотой кожи, куски и обрезки которой, вместе с инструментами, новой и старой сбруей, хомутиной, потниками, дратвой и медным набором навалены были и на верстаке, и на затоптанном, сорном полу. Воняло и птицей из темной пристройки, но Сверчок и Василий, ночевавшие в этой вони и каждый день часов по десяти сидевшие в ней с согнутыми спинами, были, как всегда, очень довольны своим помещением, особенно тем, что Ремер не жалеет топки. С узеньких подоконников капало, на черных стеклах сверкало и резко белел липкий, мокрый снег. Шорники пристально работали, кухарка, небольшая женщина в полушубке и мужицких сапогах, назябшаяся за день, отдыхала на продранном стуле у горячей печки. Она грела спину и, не сводя глаз с лампочки, слушала шум ветра, потрясавшего порою весь флигель, постукивание по хомуту, который Василий, и старчески-детское дыхание лысого Сверчка, возившегося над шлеей и в затруднительные минуты шевелившего красным кончиком языка.

Лампочка, облитая керосином, стояла на самом краю верстака и как раз посредине между работавшими, чтобы видне было обоим, но Василии то и дело подвигал ее к себе своей сильной, жилистой, смуглой рукой, засученной по локоть. Сила, уверенность в силе чувствовались и во всей осанке этого черноволосого человека, похожего на малайца, - в каждой выпуклости его мускулистого тела, обозначавшегося под тонкой, точно истлевшей рубахой, бывшей когда-то красной, и всегда казалось, что Сверчок, маленький и, несмотря на видимую бодрость, весь разбитый, как все дворовые люди, побаивается Василия, никогда никого не боявшегося. Казалось это и самому Василию, усвоившему себе манеру, как бы в шутку, на забаву окружающим, покиривать на Сверчка, даже помогавшего этой шутке.

Василий, держа между коленками, прикрытыми засаленным фартуком, новый хомут, обтягивал его темно-лиловой толстой кожей, одной рукой крепко захватывая ее и туго натаскивая на дерево клещами, а другой вынимая из сжатых губ гвозди с медными шляпками, втыкая их в наколы, заранее сделанные шилом, и затем с одного маха, ловко и сильно вколачивая молотком. Он низко нагнул свою большую голову в черных влажно-курчавых волосах, перехваченных ремешком, и работал с той приятной, ладной напряженностью, которая дается только хорошо развитой силой, талантом. Напряженно работал и Сверчок, но напряженность эта была иного рода. Он прошивал концом новую розово-телесного цвета шлею, тоже захватив ее в колени, в голенища и фартук, и с трудом накалывал, с трудом, шевеля языком и приноравливая к свету лысую голову, попадал щетиной в дырочки, хотя раздергивал в разные стороны и закреплял конец даже с некоторой удалью старого, натерлого мастера.

Наклоненное к хомуту лицо Василия, широкое, с выступающими под маслянистой желто-смуглой кожей костями, с редкими и жесткими черными волосами над углами губ, было строго, нахмурено, значительно. А по наклоненному к шлее лицу Сверчка видно было только то, что ему темно и трудно. Он был ровно вдвое старше Василия и чуть не вдвое меньше ростом. Сидел ли он, вставал ли, разница была невелика, - так коротки были его ноги, обутые в разбитые, ставшие от старости мягкими, сапоги. Ходил он, - тоже от старости, - неловко согнувшись, так, что отставал

фартук и виден был глубоко провалившийся живот, слабо, по-детски подпоясанный. По-детски темны были его черные глазки, похожие на маслинки, а лицо имело слегка лукавый, насмешливый вид: нижняя челюсть у Сверчка выдавалась, а верхняя губа, на которой темнели две тонких, всегда мокрых косички, западала. Вместо «барин» говорил он «баин», вместо «было» - «быво» и часто всхлипывал, подтирая большой холодной рукой, суставами указательного пальца, свой повисший носик, на конце которого все держалась светлая капелька. Пахло от него махоркой, кожей и еще чем-то острым, как от всех стариков.

Сквозь шум метели слышался из сеней топот обиваемых от снега ног, хлопанье дверей – и, внося с собой свежий хороший запах, вошли господа, залепленные белыми хлопьями, с мокрыми лицами и блестками на волосах и одежде. Темно-красная борода и густые, нависшие над серьезными и живыми глазами брови Ремера, глянцевиный каракулевый воротник его мохнатого пальто и каракулевая шапка казались от этих блесток еще великолепно, а нежное, милое лицо его беременной жены, ее мягкие длинные ресницы, сине-серые глаза и пуховый платок еще нежнее и милее. Кухарка хотела уступить ей продранный стул, она ласково ее поблагодарила, заставила остаться на своем месте и села на скамью в другой угол, осторожно сняв с нее узду со сломанными удилами; потом слабо зевнула, повела плечами, улыбнулась и тоже засмотрелась на огонь широко раскрытыми глазами. Ремер закурил и стал ходить по комнате, не раздевшись и не сняв шапки. Как всегда, господа пришли только на минутку, - уж очень тяжелый и теплый был у шорников воздух, - но потом, как всегда, забылись, потеряли обоняние... И вот тут-то, неожиданно для всех, и рассказал Сверчок свою историю.

- Однако ты, брат, ловок, - прошепелявил он, когда Василий, поздоровавшись с господами кивком головы, опять придвинул к себе лампочку. - Однако ты, б'ят, вовок. Я небось постарше тебя немножко, - сказал он, всхлипывая и подтирая нос.

- Что? - притворно-грозно крикнул Василий, сдвигая брови. - Может, тебе еще газовый рожок зажечь? Ослеп - так в богадельню.

Все улыбнулись, - даже и барыня, которой все-таки немного неприятны были эти шутки, - и подумали, что Сверчок, как всегда, отпустит что-нибудь смешное. Но на этот раз он только головой покрутил и, вздохнув, остановил взгляд на черных стеклах, залепленных белыми хлопьями. Потом, взяв шило своей большой, в крупных жилах рукой с широко расставленными суставами большого и указательного пальцев, неловко и с трудом воткнул его в розоватую сырую кожу. Кухарка, заметив, что он смотрел на окна, заговорила о том, как она боится, что ее мужик, поехавший за коновалом в Чичерино, замерзнет, собьется с дороги, как вдруг Сверчок, делая вид, что он занят, сказал с грустным добродушием:

- Да, брат, ослеп... Поневоле ослепнешь! Ты вот доживи-ка до моих годов, да почувствуй с мое! Ан не доживешь! Я вот спокон веку такой, неизвестно, в чем душа держится, а все тянулся, жил - и еще бы столько же прожил, как бы было зачем. Я. Брат, очень даже хотел жить, пока было антиресно, и жил, смерти не подавался. А твою-то силу мы еще не знаем. Молода, в Саксоне не была...

Василий посмотрел на него пристально, как посмотрели господа и кухарка, удивленные его необычным тоном, - на минуту, в молчании, особенно явственно стал слышен шум ветра, - и серьезно спросил:

- Что это ты буровишь такое?

- Я-то? - сказал Сверчок, поднимая голову. - Нет, брат, я не буровлю. Я это про сына вспомнил. Слышал небось какой молодец-то был? Пожалуй, еще почище тебя будет, а вот не мог же того выдержать, что я.

- Ведь он замерз, кажется? - спросил Ремер.

- Я его знал, - ответил Василий и, не стесняясь, как говорят о ребенке при нем же самом, добавил:

- Да он и не сын ему, говорят, был, - Сверчку-то. Не в мать, не в отца, а в проезжего молодца.

- Это дело иное, - так же просто сказал и Сверчок, - это все может быть, а почитал он меня не меньше отца, дай бог, чтобы твои так-то тебя почитали, да и не докапывался я, сын он мне али нет, моя кровь аль чужая... авось она у всех одинаковая! Сила в том, что он, может, дороже десятерых родных мне был. Вы вот, барин, и вы, сударыня, - сказал Сверчок, поворачивая голову к господам и особенно ласково выговаривая: «судаыня», - вы вот послушайте, как было-с это дело, как замерз-то он. Я ведь его всю ночь на закорках таскал!

- Кура сильная была? - спросила кухарка.

- Никак нет, - сказал Сверчок. - Туман.

- Как туман? - спросила барыня. - Да разве в туман можно замерзнуть? И зачем же вы его таскали?

Сверчок кротко улыбнулся.

- Хм! - сказал он. - Да вы того, сударыня, и вообразить себе не можете-с, до чего он, туман-то этот, может замучить! А таскал я его затем, что уж очень жалко было-с, все думал отстоять его от этого... от смерти-то. Это так вышло, - картаво начал он, обращаясь не к Василию и не к Ремеру, а только к одной барыне, - это вышло-с как раз под самый Николин день...

- А давно? - спросил Ремер.

- Да лет пять или шесть тому назад, - ответил за Сверчка Василий, серьезно слушая и свертывая сигарку.

Сверчок мельком, старчески-строго взглянул на него.

- Оставь мне затынуться, - сказал он и продолжал: Работали мы, сударыня, у барина Савича в Огнвке, - он, сын-то, со мной всегда ходил, не отбивался от меня, - ну, работали и работали, а квартиру в селе снимали, жили после смерти матери вроде как два дружных товарища. Подходит, наконец того, Николин день. Надо, думаем, домой отличиться, немножко в порядок себя привести, а то, по совести сказать, уж очень все на нас земле предалось. Собираемся этак навечер а того и не видим, что такая стыдь да еще с туманом к вечеру завернула, альни деревни за лужком не видать, уж не говоря про то, что очень местность везде глухая. Копаемся, прибираем струмент в этой самой бане, где мы, значит, спасались, никак ничего не найдем в темноте, - скупой барин-то был, огарочка не разживешься, - чувствуем, что припоздали маленько, и верите ли, такая тоска вдруг взяла меня, что я говорю: «Дорогой ты мой товарищ, Максим Ильич, ай нам остаться, до утра подождать?»

- А вас Ильей зовут? - спросила барыня, вдруг вспомнив, что она до сих пор не знает имени Сверчка.

- Ильей-с, - ласково сказал Сверчок и, всхлипнув, подтер нос, - Ильей Капитоновым. Но только сын-то меня тоже Сверчком звал и все, - вот не хуже этого Бовы Королевича, Василь Степаныча, - шутил, грубиянил со мной. Ну, конечно, пошутил, закричал и тут: «Это еще, мол, что такое? Поговори у меня!» - Нахлобучил мне шапку по уши, надел свою, ремешком подтянулся, - красавец был, сударыня, истинную вам правду говорю-с! - взял палочку и без дальних разговоров марш на крыльцо. Я за ним... Вижу, туман страсть какой и уже совсем стемняло, барский сад весь сизыми шапками, инеем оброс, - как туча какая в сумерках, в тумане этом мерещится, - да делать, значит,

нечего, не хочу молодого человека обижать, молчу. Перешли лужи, поднялись на горку, оглянулись, а окон у барина уж и не видно стало. Отвернулся я от ветру, - в одну минуту дух захватило, так и несет этой мгой, туманом, вроде как дыханье какое, - чувствую, что уж на двух шагах до самых костей прохватило, а споги-то нан нас нагольные, да и поддевички на шереметьевский счет сшиты, и опять говорю: «Ой, вернемся, Максим, не форси!» Он было и задумался... Да известно, дело молодое, по себе небось, сударыня, знаете, - как свою гордость не выказать? - опять пошел. Входим в деревню, - конечно, потише стало, везде огни по избам, хоть и мутные, а все-таки жильё, - он и бубнит: «Ну, видишь? Что дрожал? Видишь, на ходу-то куда теплей, это только сначала так стюдено показалось... Не отставай, не отставай, а то подгонять зачну...» А уж какое там, сударыня, тепло, все водовозки на четверть инеем обросли, все лозинки к земле пригнуло, крыш не видать от туману и морозу... Конечно, жильё, да от этих огней туман еще больше выдает, и все ресницы у меня в инее, отяжелели, как у лошади хорошей, а барских окон на том боку и звания не осталось... Одно слово - ночь лютая, самая что ни на есть волчиная...

Василий нахмурился, пустил в обе ноздри дым и, подавая окуок Сверчку, перебил его:

- Ну, ты, «вовчиная», этак до второго пришествия не кончишь. Ты скорей рассказывай.

И деловито перевернул в коленях хомут, намереваясь продолжать работу. Сверчок, щепотками, кончиками прокопченных пальцев взяв у него окурок, сильно затянулся и на минуту грустно задумался, как бы слушая свое детское дыхание и шум ветра за стенами. Потом несмело сказал:

- Ну, бог с тобой, хорошо, покороче скажу. Я только хотел сказать, что просто мы заблудились в двух шагах. Мы, сударыня, - продолжал он увереннее, взглянув на барыню, уловив в ее глазах сочувствие и вдруг острее почувствовав свое давно ставшее привычным горе, - мы дорогу, значит, потеряли. Как только вышли-с за деревню, да попали в эту темь, во мгу, в холод, да прошли, может, с версту, так и заблудились. Тут большой верх, агромадный луг, буераки до самого села идут, а над ними дорога всегда есть, вот мы и потрафляли по ней, все думали, что верно держимся, а заместо того влево забрали по чьему-то следу, к бибииковским, значит, оврагам, и след этот тоже, на беду, упустили, а уж там и пошли месить по снегу, по ветру, как попало. Да это все, сударыня, история известная, - кто не блудил, все блудили, - ая то хотел сказать, какую муку-с я за эту ночь принял! Я, правда, до того оробел, до того испугался, как, значит, прокружились мы часа два али три, да зарьяли, задохнулись, обмерзли, стали в пень и видим, что в отделку пропали, до того, говорю, испугался, что у меня аж руки, ноги огнем закололо, - всякому, понятно, свой живот дорог, - но только я и в мыслях не держал, что дальше-то будет, как накажет меня господь! Я, нонятно, думал, что мне первому конец, - много ль во мне духу, сами изволите видеть, - а как увидал, что я-то еще жив, стою, а уж он на снег сел, как увидал его...

Сверчок слегка вскрикнул на последних словах, взглянул на кухарку, которая уже плакала, и, вдруг заморгав, исказив и брови, и губы, и задрожавшую челюсть, стал торопливо искать кисет. Василий сердито сунул ему свой, и он, вертя прыгающими руками сигарку и роняя в табак слезы, опять заговорил, но уже новым, размеренно-твердым и повышенным тоном:

- Дорогая моя сударыня, у нас был барин Ильин, лютей его во всей губернии не было, - до нашего, то есть, брата, до дворового - так вот он тоже замерз, под городом нашли, - лежит в возке, весь снегом забит, и сам окоченел уж давно, а возле него сидит-дрожит кобель живой, сетер его любимый, под шубой под енотовой: он, значит, злодей-то такой шубу свою собственную снял с себя и кобеля накрыл, а сам замерз, и кучер его замерз, и вся тройка мерзлая на оглобли навалилась, поколела... А ведь тут не кобель, тут - сын родной, дорогой мой товарищ! Да, сударыня! Что мне было снять-то с себя? Поддевку-то эту? Да она была ровесница мне, на нем была вдвое теплей... Да тут и шубой не помог бы! Тут хоть рубаху сними - не спасешь, хоть на весь белый свет кричи - никого не докричишься! Он вскорости еще пуше меня испугался, и вот от этого от самого и пропали-то мы. Как только упустили мы след, он и заметался. Сперва все покрикивал, зубами ляскал да отдувался, как, значит, до животов-то прохватило нас ветром с

морозом, потом вроде как с ума стал сходить. «Стой! - кричу. - Ради Христа, стой, давай сядем, одумаемся!..» Молчит. Я его за рукав хватаю, опять кричу... Молчит, да и только! Либо не понимает ничего, либо не слышит. Темь хоть глаз выколи, ног, рук уж не чуем, все лицо сковало, губ вроде как совсем нету - одна челюсть голая - и ничего не поймешь, ничего не видишь! Гудит ветер в уши, несет мгу эту, а он кружится, мечется - и ничего не слушает меня. Бегу, глотаю туман, вязну по пояс... того гляди, думаю, из виду его упущу... вдруг - раз! сорвались куда-й-то, покатались, задохнулись в снегу... чую - в оврагах сидим. Помолчали, помолчали, отдышались - вдруг он и говорит. «Это что, отец? Бибиковские овраги? Ну, седи, седи, давай отдохнем. Вылезем - целиком назад пойдем. Теперь я все понимаю. Ты не бойся, не бойся, - я тебя доведу». А уж голос-то дикий. Не говорит, а рубит... И вот тут-то я и понял, что пропали мы. Вылезли, опять пошли, опять ошалели... месили, месили снег еще часа два, попали в кустарник дубовый, да как наткнулись на него, да поняли, что мы уж верстах в десяти от Огневки, в степи пустой, - тут он и сел вдруг: «Сверчок, прощай». - «Стой, как прощай? Очнись, Максим!..» Нет, - снл и смолк...

- Долга песня рассказывать, сударыня! – вдруг опять звонко сказал Сверчок, искажая брови. - Тут и страх весь пропал у меня. Как сел он, мне так в голову и вдарило: а-а, думаю, вон что, помирать мне теперь, видно, время нет! Руки стал у него целовать, умолять - мол, поддержишь хоть немножко еще, не седи, не давайся сну этому смертному, пойдем целиком, обопрись на меня! Нет, - валится с ног долой, да и только! А я бы и помер от этакой страсти, да уж не могу... не в сужоении... И когда уж кончился он, смолк совсем, отяжелел, оледенел, я его, мужчину этакого, на закорки навалил, под ноги подхватил - и попер целиком. Нет, думаю стой, нет, шалишь, не отдам, - мертвого буду сто ночей таскать! Бегу, вязну в снегу, а у самого дух от тяжести занимается, волосы дыбом от страху встают, как он своей студеной головой, - картуз-то уж давно свалился, - по плечу моему елозит, до уха касается. А все бегу да кричу: «Нет, постой, не отдам, помирать мне теперь не время!» Думалось так, сударыня, - сказал Сверчок вдруг упавшим голосом и заплакал, вытирая рукавом глаза, выбирая на рукаве местечко менее грязное, ближе к плечу, - думалось так... принесу на село... может, оттает, ототру...

Долго спустя, когда Сверчок уже успокоился и стал пристально смотреть красными глазами в одну точку перед собою, когда вытерли слезы и облегченно вздохнули и барыня, и кухарка, Василий серьезно сказал:

- А напрасно я тебя окоротил. Ты хорошо рассказываешь. Я и не чаял такой прыти от тебя.

- Вот то-то и оно-то, - тоже серьезно и просто ответил Сверчок. - Тут, брат, всю ночь можно рассказывать, и то не расскажешь.

- А сколько ему было лет? - спросил Ремер, искоса поглядывая на жену, тихо улыбающуюся после слез, и тревожно думая о том, как бы это не повредило ей в ее положении.

- Двадцать пятый-с, - ответил Сверчок.

- И больше у вас не было детей? - робко спросила барыня.

- Нет-с, не было...

- А у меня вон целых семеро, - нахмуриваясь, сказал Василий. – Изба два шага, а их куча. Тоже не велика сласть и дети. Нам, видно, чем раньше помереть, тем выгоднее.

Сверчок подумал.

- Ну, это не нашего ума дело, - еще проще, серьезней ответил он и опять взялся за шило. - Не замерзни он, меня, брат, до ста лет никакая смерть не взяла бы.

Господа переглянулись и, застегиваясь, поднялись с мест. Но еще долго стояли и слушали, как отвечал Сверчок на расспросы кухарки о том, донес ли он сына до села, чем кончилось дело. Сверчок отвечал, что донес, но только не до села, а до железной дороги, и упал, споткнувшись на рельсы. Обморозил руки, ноги и уже совсем терял сознание. Рассвело, шла метель, все белело, а он сидел в степи и смотрел, как заносит снег его мертвого сына, набивается в редкие усы и в белые уши. Подняли их кондуктора товарного поезда, шедшего из Балашова.

- Дивное дело, - сказала кухарка, когда он кончил, - не пойму я того, как ты сам-то в такую страсть не замерз?

- Не до того было, матушка, - ответил Сверчок рассеянно, ища что-то на верстаке, в обрезках кожи.